

Валерия Крутова

Музей чудиков

Рассказы

Дочь апостола

Имя ей — узница Петрова. И неважно, что зовут ее Надя. Надежда, которая если и умирает, то последней. Каждый раз умирает, оставаясь последней в автобусе, что везет ее к свинцовому заводу. Остальные узники выходят на остановку раньше, а Наде Петровой ехать до конца. До — каждый раз — конца света. Там, у свинцового завода, ни фонарей, ни окон, горящих теплым домом, жаренной с лучком картошкой, пуховым одеялом с ажурным ромбом по центру. Там ни души.

Не души — воздуха в легких и так мало.

Волной катается страх по салону автобуса. Салону... Какой же это салон? Грязный, душачий потом, кровью чьей-то, отхаркнувшейся, однако дышащий слабым морозным воздухом салон. Чулан, куда чья-то уставшая рука ежевечерне сбрасывает десяток людей, словно старые метлы, в пыльный заброшенный угол. Жизни. Какой салон, такая жизнь.

Надя Петрова — узница на семь минут. Самые страшные семь минут ее дня. Каждый раз, когда предпоследняя метла выпадает из чулана, Надя вздрагивает, прикрывает рот, хватается крик рвущийся. Всея пятерней хватается и держит, лелеет, потому что крик этот — хоть что-то родное и похожее на настоящее, что в Наде есть. Что в Наде осталось.

Оставь — мне совсем немного надо.

Сидит девица в темнице, а душа на улице. На улице небо ясное звездное. На улице снег в лунном свете блестит так, будто на него некая модница глиттер рассыпала. Будто шла, нет, плыла над снегом, не ступая, и сыпала. Надя держала крик и смотрела на модницу, а модница сыпала и сыпала, затем на Надю оглянулась, подмигнула и исчезла. Надя бы тоже так хотела — плыть, не ступать над снегом, и сыпать. Только песком-памятью, не блеском. Из-за этого песка и блеска не осталось у Нади. Ни в карманах, ни в глазах.

Не смотри — мне больно.

Отец смотрел глазами-слезами. Надя никогда не думала, что у папы такие есть. Он будто их достал из воды, не вытер и надел. А у Нади ни слез, ни глаз. Одни красные-

Валерия Крутова (Макеева Валерия Валерьевна) родилась в 1988 г. в Чимкенте (Казахстан). Участник XVIII и XIX Форумов молодых писателей. Живет в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 9.

красные реки от карих дырок без дна. Без надежды даже на дно. Папа тогда говорил, что все прошло, и это пройдет. Папа тогда встал, стал высоким, каким Надя его, сутулого, и не помнила. Папа тогда глаза-слезы высушил одной лишь ненавистью. А она только просила, чтобы не поубивал никого, а то она одна останется, никому со своими зрачками-дырками не нужная.

Не говори — мне страшно.

Говори, не молчи, а то страшно. Расскажи всем и каждому, пусть знают. Не расскажи, засмеют. Промолчи, умолчи, а то осудят. Кричи, пусть поймают. Плачь, пусть судом судят, адом грозят. Пусть по почкам пинают за железной клеткой. Только молчи, не пытайся остановить.

Внутри Нади тогда все кричало. Все болело, плакало. Хорошо, мамы не было... Мама бы тогда Надю спрятала, крылом защитила, никому бы ее боль не отдала, внутри на замок заперла. На роток — платок. На секрет — крышу железную, а сама сверху бы встала. Хорошо, что мамы не было тогда. Плохо, что и сейчас нет.

Папа — не мама. Папа встал, выпрямился, глаза-слезы осушил. Прогремел на весь рабочий поселок, прозвенел отцовским горем, провыл ненавистью бестолковой. Как посланник божий беса изогнал. Только вот автобус водить в их глушь долго еще некому было.

Папа прогромел, снова ссутулился, будто еще сильнее, чем раньше, и снова на лавку кухонную сел. А Надя наоборот — осмелела. Через год из дома стала выходить. Еще через полгода в автобус села. Тот же самый, только без беса за баранкой. Той же самой баранкой, только руки ее трогают не те, что Надю тогда трогали. И названия остановок кричит не тот голос, что Наде в ухо «заткнись» шептал.

Да как же молчать — если больно!

Семь минут до конечной. И Надежда каждый день чуть-чуть умирает, оставшись последней.

Время до Дзержинского

Завтра будет день. Солнечный, шумный. Вокруг будут снова люди, торопиться, иногда толкаться и непременно извиняться. Временами они будут вздрагивать от неожиданных и пронзительных сигналов, оглядываться и ускорять шаг. Проезжающие автомобили, помимо сигналов, будут выдавать порцию выхлопов на торможении — перекресток. И дышать будет легко, но не слишком-то и вкусно. Город.

Завтра будет ночь. Звездная после солнечного дня. Темная, как будто горная. В горах все — слишком. Если речка, то слишком холодная и чистая. Если ночь, то слишком темная и свежая. Если чай, то слишком ароматный и да, слишком вкусный. Нигде больше такого чая не выпьешь, как в горах. Завтра будет ночь, но не горная, а просто темная. Потому что нет в глазах желания выглядывать свет.

Завтра будет офис. Режущий по глазам лезвием флуоресцентных ламп. Офис будет пахнуть кофе, Шанель — сначала мужским, затем женским. К половине десятого Шанель смешается с десятком других ароматов. К ним присоединится шелест бумаг. Если закрыть глаза, можно представить себя в осеннем парке — листья обязательно крупные и не слишком влажные, чтобы шелестеть. Потом открыть глаза — будто прогулялся. Снова за работу.

Завтра будет звонок. Крепкий, как кофе, бодрящий. Тот звонок, что вроде бы еле касается нервных окончаний по всему телу, но сжигает их дотла. И когда отзвонит, отболит. А может быть, звонка не будет, и нервные окончания так и останутся в ожидании. Зато целыми.

Завтра будет ветер. Пронизывающий, выдувающий весь белок из костей. Они потом треснут, сломаются. И никто не подумает на ветер. Все подумают на остеопороз.

Завтра ничего не будет, если не останется времени. А времени — в обрез.

— Думай давай. Есть время до Дзержинского, — говорит он. Подталкивает меня к решению. Ведь нужно еще перестроиться не нарушив правил.

А я понимаю, что улицы Дзержинского давно не существует. Значит, у меня нет времени вообще. Нет Дзержинского, нет времени. Вне времени и улиц, вне автомобиля. Вне себя от необходимости решить что-то до Дзержинского. И там ведь плевое дело решить: направо едем или налево. И почему это должна делать именно я? Тем более в таком ограниченном и безграничном временном промежутке.

Налево... или все-таки давай ты решишь за меня и повезешь куда хочешь? Чтобы у меня было завтра. Чтобы у меня было время. Вообще. А не до Дзержинского.

Куриная ножка помощи

Я там умер. Так странно. Будто умереть — это еще не повод перестать существовать. Будто бы это не конец.

«Я там умер». Уже третий день фраза всплывала у Димы в голове. Он вспоминал ее, когда обедал — получает ли удовольствие от еды тот, кто считает, что умер? Вспоминал, когда ехал на работу — не считается ли офисная работа смертью? Даже когда занимался сексом с женой, вспоминал — не умирает ли он на секунду во время оргазма?

Три дня назад, возвращаясь из магазина, Дима столкнулся с парнем. Невысокий, худошавый — джинсы висят, поправляет все время. На голове кепка, сложно разглядеть лицо. Брит. Примерно пару дней назад брит. Дима окинул его взглядом, подмечая детали. Привычка художника. Парень сначала шарахнулся в сторону, буквально на шаг, но потом остановился и произнес:

— Брат... — Он сказал это тихо и хрипло. Дима поморщился. Почему обращение «брат, братан, братишка» считают правилом? Почему оно должно вызывать желание ответить или помочь? С какой стати этот наркоман, а Дима не сомневался, что парень под кайфом, вдруг оказался ему братом. Братом на пару секунд, братом на время «дай сигарету, дай мелочь, дай...». Братом, который даст.

У Димы был брат. Еще в школе во время драки Олег неудачно упал и разбил голову об угол бордюра. Мгновенная смерть. А главное, толком и не виноват никто. Да, дрались. Да били друг друга, но перед падением Олега даже не толкали. Он просто оступился. Так вот почему вдруг место настоящего брата занимает этот бездельник? Дима разогнал злость буквально за секунду. На секунду. Парень продолжил:

— Очень кушать хочется... У тебя нет хлеба? Извини.

Дима растерялся. Он посмотрел на свои пакеты — лук, соленые огурцы для рассольника, сок сыну, две пачки сигарет и «вонючка» от комаров. Хлеба в списке не было, он и не брал.

— Идем, — повернулся он обратно к магазину. — Купим тебе хлеба.

— Да не... ты иди. До магазина далеко. Я потом как-нибудь... — тихо ответил парень.

— Что потом как-нибудь? Поешь потом как-нибудь? Идем, говорю.

Парень кивнул и сделал шаг, но замер на мгновение, ожидая, когда шаг сделает и Дима. Дождавшись, отстал ненамного и тихо пошел следом.

Диме было не по себе. Парень как парень, здоровый, вроде. Почему работать не пойти? Почему не подметать, вон, парковку у того же магазина. Какая-никакая, а копейка. Побираться легче что ли? А с другой стороны, парень не денег попросил. Не выпивку, не сигареты. Он попросил еды. Голод — это страшно. Это мучительно. И если можно отказать человеку в опохмеле, теща себя уверенностью, что сделал доброе дело. Не дал человеку отравиться. То отказать человеку в хлебе... Как потом

спать вообще, зная, что кто-то натуральным образомдохнет с голоду. Надеяться, что кто-то оказался добрее? Надеяться, что своим отказом не отбил желание просить снова?

— Ты не подумай плохо, — тихо сказал парень. — Просто денег нет, на работу не берут. Я не просил никогда. Получалось как-то держаться...

— Почему не берут?

Парень ускори́лся на шаг, чтобы поравняться с Димой и снял кепку. Дима не успел сдержаться и охнул. У парня будто не было половины затылка. Словно кто-то выдрал кусок, превратив череп парня в фигуру с картины Дали.

— Это меня били так. Я с работы шел, нес большую сумму денег. И вот они втроем или вчетвером, не помню, встретили. И били. Наверное, хотели до смерти. А теперь никто не доверяет ни работы, ни денег. Я так-то нормальный, но часто припадки и забываю многое. Да и видок сразу отталкивает.

Парень виновато улыбнулся и подмигнул съехавшим к виску глазом.

Дима попросил его постоять, а сам зашел в магазин. Купил хлеба две буханки, пачку чая, печенье, яйца, молоко. Купил упаковку куриных ног и масло. Соль, сахар, пачку сигарет. Уже стоя у кассы, Дима спохватился и вернулся к стеллажам. Он бросил в корзину несколько пар носков и упаковку туалетной бумаги.

Можно найти джинсы в пунктах приема вещей, куртку, рубашку. Но никто не отдает на благотворительность носки и нижнее белье. И если нет денег даже на еду, то носки — это последнее, что купит голодный человек. У кассы Дима взял пару шоколадок и бритву.

Парень послушно ждал на улице. Он старался не попадать под свет фонаря и жался к забору рядом стоящего дома. Парень старался не попадать под взгляд случайного прохожего.

— Возьми, — Дима выставил пакеты вперед.

— Что ты! Вы! Ты... Брат, мне хлеба только, пожалуйста... — парень протянул руки, отдернул их, но потом снова протянул одну.

— Бери. У тебя дом есть? Готовить есть на чем? — спросил Дима.

— Дом, да, есть. От бабушки остался. Она меня растила одна. А потом умерла.

— Один живешь?

— Один, да. И печка внутри есть. Спасибо вам. Тебе...

— Тебе. Назвал уж братом, так какие церемонии. — Дима хлопнул парня по плечу.

Обратно они пошли бодрее. И парень не отстал. И даже заговорил смелее. Рассказал, что живет неподалеку, на автомойке подрабатывает. Когда хозяин в настроении, дает что-нибудь подмести или помыть. Не автомобили мыть, конечно, а полы, например. И пенсию он получает. Хватает чуть-чуть за воду заплатить и газ. А свет давно отключили.

— Это как они тебе так... с головой... ну, это? — Дима смутился. Взрослый, блин, мужик, а вопрос задать нормально не может.

— Они, да. Ну они не только по голове били. А череп проломил — прыгали на нем. Вообще странно, что дурачком не остался. Хотя остался, конечно, у меня теперь эти припадки всю жизнь будут, ну и дальше как там будет по здоровью, хер его знает.

Парень вдруг замолчал. Дима тоже ничего не говорил. Он считал шаги, прикидывал, сколько еще осталось до дома. Закрыться и не знать, не понимать. Как девчонка, ей-богу.

— Я там реально умер. Когда лежал. Думал все, — тихо сказал парень и остановился у поворота.

— Тебе туда? — догадался Дима.

— Туда, да. Спасибо тебе еще раз. Спасибо.

Он взял пакеты в одну руку и протянул вторую Диме. Дима крепко ее пожал.

Дома как-то стало совсем по-другому. То ли свет ярче, то ли теплее. Дима сбросил куртку и поставил пакет на стол.

— Ты чего так долго? — спросила жена.

— Да я тут парня встретил, бедолагу, — жена погасила экран телефона и посмотрела на Диму. — Прикинь, его избили и теперь работать толком не может. Попросил поесть. В общем, я ему купил там... всякое. Поесть, носков. Бумаги туалетной.

Жена улыбнулась.

— А что с ним такое?

— Да полбашки нет.

— Ну... а денег дал? — жена встала и пошла к раковине.

— Нет. Ну я все купил и так.

— Надо было еще денег дать... Молодой?

— Да как я примерно.

— Кошмар...

Разговор как-то так и стих. А о чем говорить? О жалости? К кому? Жалость к парню — виноватая. Вот с тобой случилось, а у меня свет дома, жена, сын. У меня работа есть, прости, парень. Или о жалости к себе? Жалким, таким жалким ты становишься перед чужим горем, перед чужой бедой. Таким беспомощным. Денег дать, курицу купить. Еще пожарить и вынести за ворота. На, дескать, угощайся. Сегодня я накормлю, а завтра... ну еще попадетсЯ кто добрый. Протянуть ножку куриную, а руку, перепачканную маслом и жалостью, потом об штанину вытереть. Свою штанину не жалко, ее машинка отстирает.

Как страшно испытывать вину за то, что у тебя все хорошо.

— Блин, теперь думаю и думаю... — проговорила жена. — Так страшно. Не рассказывай мне больше. Сердце не на месте.

«Не рассказывай мне больше такое». Еще один способ спастись — не знать. Человек так не уверен в своем благополучии, что предпочитает не представлять, не знать о том, что может случиться. И с ним в том числе.

«Я там умер». Дима уже лежал в постели и думал: «Хочется ли жить после такого? Или лучше бы и правда умер?» Что думает сейчас этот парень? Вопросы, вопросы. Такие вопросы не требуют ответов. Даже больше, они молят о том, чтобы ответы никогда не нашлись. Лучше так: испытал, словно головой в снег, рассказал жене — разделил неуверенность, забыл завтра. Главное, парень сегодня поест.

— Ты его встретишь если, денег дай. Ой, жалко, все-таки, — жена отвернулась и выключила бра над кроватью.

Спать.

«Я там умер». И Дима чуточку умер. Обмер. Слава богу, жив. Слава богу, все хорошо.

Музей чудиков

Девочка. Закусила нижнюю губу и просишься в ряд. Такое ощущение, что я пропускаю тебя не зря. Такое ощущение, что еще долго никто не пропустит. Ты врываешься в поток, надеюсь, оставила уже в покое истерзанную губу. Я киваю твоей аварийке — универсальному сигналу на дороге. Тут тебе и благодарность, тут и «простите-извините-был-не-прав». Тут и предупреждение, и напоминание включить фары, например. Как автомобилисты друг друга понимают... Эта функция включается путем нажатия переднего сидения на попу человека. Только перед ним — и сидением, и человеком — должен быть руль.

Чертова девочка. Ты тут же просишься в следующий ряд, а мы стоим. И я, добрая

душа, и десяток нервных водителей позади. По обычаю, самый нетерпеливый стоит сразу за мной, пристроился вплотную. Муж называет таких — попонюхами. Ну, он называет грубее, конечно. Еще муж говорит, что надо их учить, но никто этим сознательно не занимается. Все просто злятся и стараются слинять подальше. А я не злюсь, я их просто боюсь. Как и свой автомобиль, как и девочек с губами. И закусанными, и просто. Как и аварийки — увидев сигнал, я машинально поправляю макияж. Даже если его нет.

Если бы все ехали в одном, продиктованном правилами скоростном режиме, не мотались из ряда в ряд и не тормозили у обочины в целях собрать как можно больше пассажиров, а заодно и их монет, то пробок бы не было. Точно знаю. Где-то читала, что скоростной режим зависит от расстояния между светофорами, а светофоры зажигаются по определенному алгоритму. Все это сделано, чтобы мы двигались постоянно, а не тормозили на каждом углу из-за нарушителей. Но это я брюзжу, разумеется. Что еще делать по дороге домой?

Слева от меня мужчина на праворульке. Черт, рульку надо купить и замариновать. И в пиве потушить. И квашеной капусты к ней. Хорошая я жена все-таки. Или плохая, ведь рульку-то я не потушила до сих пор. Так вот мужчина, он едет странно, ухватившись за руль, как за спасательный круг. Мужчина наклонился вперед, пара сантиметров между подбородком и рулем. Мужчина то ли боится, то ли торопится. Надавливая на руль, словно на саму змеицу из машин впереди него. Семьдесят секунд красного — пульс человека, риск внезапной смерти которого удваивается. И если мы все будем ехать с той скоростью, с которой едем сейчас, удваивается риск скончаться прямо в этой пробке, не дождавшись зеленого. Цвета надежды.

Слева мужчина за стеклом, как музейный экспонат, а справа — улица, магазины, кафе. Люди-пешеходы идут по домам. Хотя, скорее всего, это люди, успевшие доехать до дома раньше. Они уже идут в магазин, чтобы взять хлеба, овощей, полуфабрикатов каких-нибудь — готовить ужин, кормить семью, мыть посуду. Господи, как домой-то хочется уже. Светофор в этот момент сжалился и разрешил ехать. Успею проскочить перекресток за те секунды, что нам даны, или нет? Нет.

Зато первая. А мужик слева проскочил. Теперь слева стоит другой мужчина. Он вальяжно развалился в кресле, наверняка, дико комфортном. В нем не болит поясница и не давят пружины на копчик. Он держит руль за гладкую вершинку и легонько постукивает в такт, видимо, музыке. А мне кажется, в такт моим же мыслям. На пальце нет кольца, а часы дороже всей мой тачки вместе с сумкой от Фурла — вместительной и износостойкой. Она мне досталась от прошлого и богатого мужа. Кроме этой сумки мне досталось нервное расстройство. Мало доставшегося, а из оставшегося — один сапог (второй забыла у него в квартире) и глиняная супница из Грузии.

Мужчина без кольца — посередине гвоздик — повернулся в мою сторону и подмигнул. Я подмигнула в ответ и отвернулась. Впереди музей скорости — автомобили едут туда-сюда красивыми струйками. Людей словно и нет. Хорошо, если кто-то из водителей в красной кофте или желтой куртке, тогда они заявляют о своем наличии размазанным на скорости пятном. Но лица их все равно серы.

В пробке все люди серы.

Сера.

Тонкоизмельченная сера способна к самовозгоранию — так и мы. Измельченные, помещенные в железные коробочки, оставленные наедине со своими мыслями и воспоминаниями, мы способны к вспышкам ярости, необдуманным поступкам и ненависти ко всему окружающему. И хорошо бы, не к самим себе. Взгляд: красный. Взгляд: красный. Взгляд: зеленый. Позади протяжный звук, и я давя на газ с осоловевшими от счастья глазами. Впереди целый квартал без машин. Секунд сорок я буду ехать. А потом снова стоять все семьдесят, а то и больше.

Сумерки, и автомобильные фары начинают танцевать. Создавать причудливые световые узоры. То тянутся нитями, то виляют влево-вправо, включаются поворотники, аварийка, опять же. И я, замороженная, наблюдаю дополнительным зрением за этим танцем. Вроде бы хаотичным, но в хаосе этом — исключительная автомобильная гармония.

Теперь я в среднем ряду, и экспонаты «за стеклом» по обе стороны. Справа женщина в платке — покрыта голова, уши, шея и плечи. Однако ресницы наращенные, губы, видно, подкачанные. Верхняя губа у «колотых» — как козырек, а краешки, словно заворачиваются кверху. Еле заметно, но пропустить сложно. Здорово носить платок вокруг лица — в нем можно спрятать второй подбородок. Не здорово, что эта опция доступна только тем, кто исповедует ислам. Если я повяжу вокруг платок, не поймут. А с уровнем терпимости в нашей стране, так и вовсе засмеют.

Город возмутительно смешливых людей.

Мир таких.

Слева мужчина на «жигулях». На сиденьях «корпешки» — особый вид лоскутных лепешек, якобы для удобства задницы пассажира. А пассажир, собака страшная, назад сел. И еще кого-то «по пути» взять не дает. Поэтому таксист курит безостановочно и врубает музыку попротивнее.

Перед нашей «тройкой» бегут люди. Они пересекают дорогу, переплывают ожидание, испытывают терпение. Мы ревностно следим, чтобы ни один не задержался на цифре пять, потом четыре... Чтобы пешеход не завершал свой маневр тогда, когда нам нужно начинать свой. Но все перешли вовремя. Я бросаюсь со всех колес подальше от таксиста-подлянщика, от женщины в платке, от их историй, семей, причин и планов. Поближе к своим.

Пробка — это моя личная маленькая смерть. Жизнь концентрируется на ожидании и нетерпении. Мысли бьются о стены машины, перебивают друг друга, соревнуются в неистовстве и настырности. А мне просто хочется сесть в удобное кресло, которое не двигается вместе со мной по прямой, расслабиться и не наблюдать никаких лишних людей вокруг. Наблюдать только кота, мужа и телевизор с сериалом. Сегодня с «Бумажным домом». Я смотрю этот сериал и думаю, что бумажный дом — это сама я. С хрупкими стенами — личными границами, как сейчас модно говорить. С протекающей крышей, а то и вовсе растворяющейся в воде, как туалетная бумага, крышей. С окнами — вкривь, вкось. Слово их вырезали ножницами, да пару раз хватанули лишнего, поэтому эти окна на соплях держатся, и вот-вот оторвет окна к чертовой матери. То есть по сути — бумажный дом из самой меня — это нечто зыбкое, ненастоящее, и оно скоро рухнет и станет не красивой пылью памяти по ветру, а некрасивой кучей мусора на полу. На ковре в зале или на резиновом коврике моего автомобиля. Зависит оттого, где именно я рухну.

Можно ли назвать автомобиль участью? Можно ли, продав его, сменить эту участь? Или легче поменять всю жизнь, чтобы не чувствовать себя рыбой в металлической клетке. И помянуть жизнь. Чтобы не чувствовать себя рыбой в музее чудиков. Чудиков, кажется, чудесное слово — каждый человек способен сотворить чудо. У кого-то это чудо на уровне аварийки. У кого-то на уровне дергающегося глаза — подмигивания, но ведь я этому улыбнулась. Чем не чудо?

У кого-то, как у меня, на уровне воскрешения. Ежедневной смерти в клетке и воскрешения по приезде домой. Все мы экспонаты, способные на чудо, а я — главный, потому что именно я сейчас об этом думаю. Потому что это придумала я, а через полчаса воскресну и все забуду. Завтра — в субботу — придумаю новое чудо. А послезавтра воскресение. И моим чудом будет выходной.